

ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО



Драма СНЕЖНОЙ НОЧИ

Роман-расследование
о судьбе и уголовном деле
Сухово-Кобылина

Владислав Отрошенко

**Драма снежной ночи. Роман-
расследование о судьбе и
уголовном деле Сухово-Кобылина**

«Издательство АСТ»

2014

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

Отрошенко В. О.

Драма снежной ночи. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле Сухово-Кобылина / В. О. Отрошенко — «Издательство АСТ», 2014

ISBN 978-5-17-154218-4

В ноябре 1850 года француженку, с которой Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817–1903) прожил восемь лет в тайной любовной связи, находят зверски убитой в сугробах Ходынского поля под Москвой. Начинается уголовное следствие, и улики указывают на него – молодого и богатого барина, известного аристократа, игрока и донжуана, будущего автора “Свадьбы Кречинского”, “Дела” и “Смерти Тарелкина”, чье творчество развивалось под прямым и скрытым влиянием обвинения в тяжком преступлении. Совершал ли русский классик злодеяние? Был ли замешан в нем? Как мог написать великую комедию, находясь в тюрьме под угрозой каторги? Чтобы выяснить это, писатель Владислав Отрошенко несколько лет работал с архивными документами и подлинным экземпляром дела об убийстве Луизы Симон-Деманш, предназначенным для высших членов Государственного совета. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

ISBN 978-5-17-154218-4

© Отрошенко В. О., 2014
© Издательство АСТ, 2014

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Владислав Олегович Отрошенко
Драма снежной ночи. Роман-
расследование о судьбе и
уголовном деле Сухово-Кобылина

© Отрошенко В.О.

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, изображе-
ние

© Государственная Третьяковская галерея, изображение

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

Глава первая

Проклята будь ты, судьба, в делах твоих.
А. В. Сухово-Кобылин. Дело

Утром 6 октября 1842 года пароход “Санкт-Петербург”, следовавший из Гавра, вошел в воды Финского залива. Каюту первого класса занимала профессиональная модистка, парижанка Луиза Элизабет Симон-Деманш, двадцати трех лет от роду, вероисповедания католического. В таможенных документах она записала себя вдовой, хотя замужем никогда не была.

Она ехала в Россию, чтобы через восемь лет, на Михайлов день, в непроглядную пургу, сгинув в сугробах Ходынского поля, стать судьбой русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина – сделаться навеки неотступной и скорбной тенью его славы, терновым венцом его блестящих побед и триумфов.

Обер-прокурор Правительствующего сената, управляющий шестым департаментом Министерства юстиции, сенатор Кастор Никифорович Лебедев заметил в своих “Записках” с брезгливой меланхолией: “Грустно видеть эту француженку, залетевшую в Москву, чтоб кончить ужасной смертью”.

В деле Сухово-Кобылина об убийстве Луизы Симон-Деманш обер-прокурору предстоит сыграть не последнюю роль.

В 1854 году он, Кастор Никифорович, приближенное и доверенное лицо министра юстиции графа Панина, составит “от имени и за подписью” министра грозную резолюцию по делу, вследствие которой Сухово-Кобылин будет подвергнут тюремному заключению по подозрению в убийстве.

Граф Панин однажды признался со свойственной ему прямоотой: “Я всю жизнь подписывал вещи, не согласные с моими убеждениями”.

В данном случае содержание “вещи” фатально совпадало с убеждениями министра, что придавало бумаге сугубую силу. Вдохновленный столь редкой удачей, Кастор Никифорович отважился просить у графа красную ленту через левое плечо¹. И хотя Панин, по утверждению его биографа, умел ценить труды своих подчиненных и даже “смотрел на их письменные работы как на создания художников, увековечивающих имя своими произведениями”, ленты он обер-прокурору не дал и просьбой его остался крайне недоволен. А когда “художник” шестого департамента стал открыто выставить свои заслуги перед собратями по чиновничьему перу, министр юстиции вызвал его в кабинет и напомнил ему о другом художестве его неразумной юности – крамольной сатире на Императорский Московский университет, которую Лебедев сочинил в 1834 году, будучи студентом этого учебного заведения. Кто знает, быть может, Кастор Никифорович увековечил бы свое имя не только как чуткий писатель и оратор панинской школы, которая воспитала целый легион виртуозов, блиставших красноречием на заседаниях Сената, но и как утонченный сатирик, если бы ему с самого начала не отбили охоту к подобного рода сочинительству: тираж его остроумного опуса под названием “Рассуждения о царе Горохе” изъяли, а автора удалили из университета.

Сатириком Кастор Никифорович не стал. Но русская сатира в лице Сухово-Кобылина многим обязана сенатору.

Именно он натолкнет автора “Дела” на создание одной из самых драматичных сцен в этой пьесе, когда в своем прокурорском кабинете на глазах у изумленного драматурга съест билет Опекунского совета – взятку в 10 тысяч рублей серебром, полученную от Сухово-Кобылина за обещание “дать делу положительный ход”. Никакого положительного хода делу об убийстве

¹ Красная лента через левое плечо – атрибут ордена Святого Александра Невского. (Здесь и далее примеч. авт.)

Деманш Лебедев, разумеется, и не думал давать. Ибо в то самое время, когда на уровне обер-прокурорского зада отчаянно выплясывали подвижные пальцы, пытаюсь и так и эдак изобразить перед просителем заветную цифру с четырьмя нулями, в каморке письменных дел стряпчего уже вовсю скрипели казенные перья – производилась на свет прокурорская резолюция, сулившая драматургу 20 лет каторги. Банковский билет, скользнувший неуловимым призраком в правый карман жилетки обер-прокурора, мог бы, пожалуй, значительно ускорить осуществление его давней мечты удалиться на покой и стать беспечным владельцем живописных деревенок с мукомольнями и винокурнями, если бы Александру Васильевичу по дороге домой не пришлось в голову вернуться в департамент и заглянуть к стряпчему. Вознагражденный двумя пятирублевыми кредитными билетами стряпчий любезно позволил ему ознакомиться с резолюцией Лебедева.

В один миг откроется Александру Васильевичу вся глубина вековой чиновничьей мудрости: просителю обещать, чтобы брать с него взятки, а дело в любом случае поворачивать в угоду начальству, чтобы получать от него ордена и должности. Он прозреет, но прозрение будет запоздалым. И когда Александр Васильевич, вне себя от ярости, ворвется в кабинет обер-прокурора и обрушит на него свой гнев и угрозы – подлец, негодяй, мошенник! я сейчас крикну на весь департамент! да что департамент – я крикну на всю Россию, что я дал вам взятку! у меня записан номер билета... вас обыщут... у вас найдут... вас призовут! – Кастор Никифорович ничуть не смутится. Он горестно усмехнется в лицо Александру Васильевичу, нехотя вытащит из кармана сложенный вчетверо билет, положит его в рот и, тщательно разжевав, проглотит половину подмосковного имения писателя. Единственная улика еще не успеет перевариться в желудке статского советника, а на голову Сухова-Кобылина уже польются велеречивые потоки праведного негодования. Вооружившись прокурорским красноречием, Кастор Никифорович ринется в атаку и, предвосхищая вдохновенные инвективы цензоров Феоктистова и Нордштрема, обвинит будущего сатирика в злонамеренном осквернении “святых стен” и “Зеркала Империи”. Под возгласы возмущенных жрецов Фемиды его выведут вон из “высшего присутственного места державы” и захлопнут за ним дверь, которую он порывался распахнуть, чтобы крикнуть “всей России”: “Здесь грабят!!”

Россия услышит этот вопль тридцать лет спустя, когда с пьесы “Дело” снимут намордник, причешут ее цензорскими карандашиками и выпустят с биркой “Отжитое время” на русскую сцену. И тогда публика благодушно посмеется над “мрачными фантазиями” престарелого драматурга, которого в молодости “обидели дореформенные крюкотворцы”.

“Странная, странная судьба!” – не раз повторял Сухово-Кобылин в своих дневниках и письмах. И однажды, устав тягаться со своим “незрячим поводырем”, он доверился его неразумной воле: “Я покорен тебе, судьба, веди меня, я не робею, не дрогну – даже если не верю в твой разум. Веди меня, Великий Слепец – судьба!”

Пароход “Санкт-Петербург” огласил протяжными гудками столичную гавань. Вершил свою волю Великий Слепец.

Из Парижа Луиза выехала одна, без друзей, без знакомых, без средств и надежд. Через год она станет известной московской купчихой, компаньонкой и поверенной в коммерческих делах семейства Кобылиных, владелицей бакалейных лавок на Неглинной и винных магазинов в Охотном Ряду с капиталом в 60 тысяч, с апартаментами в доме графа Гудовича, с загородным особняком в Останкине, с многочисленной прислугой, рассыльными и экипажами.

Тогда, в 1842 году, она везла с собой в Россию дорожный саквояжик с недорогими туалетами, рисунки и выкройки шляпок французских моделей, и все состояние ее составляло 400 франков.

Среди прочих ее вещей в кожаном портмоне с медными уголками лежала аккуратно свернутая записка на французском языке, написанная Сухово-Кобылиным и адресованная госпоже Мене, содержательнице модных магазинов на Кузнецком Мосту. В записке этой Александр

Васильевич в коротких словах рекомендовал определить француженку в один из магазинов, где он был постоянным и щедрым заказчиком.

С Александром Васильевичем Луиза познакомилась в Париже в 1841 году. Он предстал перед ней в ресторане “Пале-Рояль” с бокалом шампанского, с газеткой “Шаривари” в кармане жилета и, любезно раскланявшись, предложил тост “за очаровательных французских женщин” в ее лице. В тот вечер она, как обычно, скучала за ужином с пожилой дамой, унылой подругой-наставницей, из тех, что неизбежно прилепляются к молодым и одиноким девушкам, обойденным судьбой.

И вдруг он явился – красавец, богач, беспечный барин, блестящий русский аристократ, европейски образованный, потомок боярина Андрея Кобылы, от коего выводили свой род и российские самодержцы Романовы, крестник Александра I, нареченный в честь своего венценосного восприемника от купели, владелец обширных родовых имений в пяти губерниях Российской империи, столбовой дворянин, хранивший в своем архиве указы царей Иоанна Грозного и Петра Великого “на жалованные роду Сухово-Кобылиных города# и сёла”, наследник крупнейших в России чугуноплавильных заводов на Выксе, хозяин тысяч крестьянских душ, каждая из которых трепетала при виде своего сурового барина, “бывавшего из собственных рук”.

Внешностью он поражал всех, кто с ним встречался. Вот знаменитый портрет, перед которым слуги Кобылина замирали в паническом страхе, когда им случалось зайти в барский кабинет в отсутствие хозяина. Его написал художник Тропинин в 1850-х годах, в самый разгар следствия по делу об убийстве Деманш. Александр Васильевич смотрит с портрета холодными черными глазами. Взгляд его исполнен самообладания, смуглое лицо с заметными восточными чертами выражает горделивую независимость и непреклонную волю, крутой и властный характер; огромные усы заострены на концах, смоляные волосы зачесаны назад, на галстук бриллиантовая брошь с фамильным гербом. До глубокой старости сохранял он лоск и осанку родовитого барина. Знавшие его в один голос твердят, что в семьдесят лет он выглядел крепким сорокалетним мужчиной, был красив и статен. Борода росла у него полумесяцем, круто загибаясь концами вверх, и только на девятом десятке полумесяц разогнулся, превратился в широкую лопату, под глазами появились мешки, сгладились черты восточного властелина, унаследованные им по материнской линии от рода Шепелевых – потомков татарского хана. Среди немногих сохранившихся фотографий Сухово-Кобылина в музее Бахрушина есть снимок, сделанный в Париже как раз в ту пору, когда Александр Васильевич познакомился с Луизой Деманш. Он сидит в кресле, широко расставив ноги в изящных штиблетах, европейский костюм сверкает белоснежными манжетами, пышные бакенбарды лихо загибаются назад, голова повернута, и глаза презрительно косят в сторону. Трудно представить, что этого гордого и неприступного барина повезут по городу в казенном экипаже со стражником на подножке вместо выездного лакея, что частные приставы будут взламывать его секретеры и рыться в белье шкафу его содержанки, что его любовные письма будут зачитываться с трибуны Сената и Государственного совета и что будут таскать его на допросы из Тверской части в Мясницкую, пока не усадят на гауптвахту у Воскресенских ворот. А там уж будут маячить ему и Владимирская дорога, и “сырая сибирка”, и “бубновый туз”...

Всё, братец, будет; это закон природы – и полиция будет, и Владимирки не минешь.

“Свадьба Кречинского”, действие второе, явление XVI

Луизу Александр Васильевич пленил. С первых же слов разговора, завязавшегося за столиком в “Пале-Рояле”, он поразил ее своей темпераментной речью, блиставшей остротами на четырех европейских языках – французском, английском, итальянском и немецком, которыми он владел в совершенстве.

“По сведениям, полученным от лиц, знавших Сухово-Кобылина, – писал в 1910 году журнал «Русская старина», – оказывается, что он играл в обществе перед судебным процессом выдающуюся роль по своему обширному уму, образованию и богатству. Его острого, как бритва, языка боялись многие, не исключая всемогущего в то время генерал-губернатора”.

Да, Александр Кобылин, титулярный советник, служивший в губернаторской канцелярии, позволял себе дерзко шутить насчет военного генерал-губернатора Москвы графа Арсения Андреевича Закревского, перед которым трепетал весь город. В так называемой зеленой комнате Английского клуба, в которой собиралась избранная публика – молодые люди из самых знатных семейств московского дворянства, он в открытую называл Арсения Андреевича “венценосным рогоносцем”. Жена Закревского Аграфена Федоровна, урожденная Толстая, двоюродная тетка Льва Николаевича Толстого, не отличалась верностью своему могущественному супругу. Она вышла замуж за Арсения Андреевича “условно”, по настоянию императора. Александр I, как пишет один из многочисленных биографов генерал-губернатора, “очень высоко ценил достоинства Арсения Андреевича и, зная его недостаточные средства, женил его на графине Толстой, в то время одной из богатейших невест”. Закревская была женщина чрезвычайно обаятельная, сладострастная и эксцентричная. Презируя женскую добродетель, Аграфена Федоровна не заставляла своих поклонников страдать от безответной любви. “На грудь роскошную она звала счастливец молодого”, – писал о ней Евгений Баратынский, в молодости, как и многие его современники, не избежавший увлечения “работой томительной мечты”.

Трудно сказать, знал ли Александр Васильевич, что зеленая комната находилась под тайным надзором генерал-губернатора. Во всяком случае, его сослуживцам по канцелярии это было хорошо известно. Лица, посещавшие зеленую комнату, были записаны у Закревского в особую, зеленую же, книжечку. И все, что говорилось там – а говорилось, как свидетельствуют современники, “нараспашку”, – доносили Закревскому, который сам не имел доступа в эту ненавистную ему комнату. При этом Арсений Андреевич желал знать мнение зеленой комнаты о каждом своем поступке. Установив, например, в своем имении памятник графу Каменскому, с чьим именем и рекомендациями никому не известный штабной майор Закревский штурмовал должностные вершины – от адъютанта военного министра до дежурного генерала при штабе Александра I, – Арсений Андреевич справлялся у верных людей о том, что говорят в зеленой комнате по поводу надписи на памятнике: “Моему благодетелю”. И верные люди, заикаясь от страха, сообщали остроты Сухово-Кобылина, которые приводили генерал-губернатора в бешенство.

Кого задевал Александр Кобылин? Грозного правителя Москвы, наделенного полномочиями диктатора. Но что мог поделать Закревский, новоиспеченный граф, получивший титул от финского сената, с этим потомственным аристократом, который в Английском клубе стоял с ним на одной ступени аристократической лестницы, если не выше?

“Трудно графу Закревскому не быть в ложном положении в городе, где общество считает себя аристократическим, где говорят и острят на французском языке!” – посетовал однажды Кастор Никифорович в разговоре с министром юстиции, благоразумно назвав “ложным положением” досадное украшение – незримые рога, прочно укрепившиеся надо лбом губернатора стараниями Аграфены Федоровны.

Потом, когда дело об убийстве Деманш ляжет на генерал-губернаторский стол, титулярному советнику все его остроты и дерзости аукнутся тайным губернаторским следствием, повальными обысками, очными ставками и черными каретами с зашторенными окнами.

В годы, предшествовавшие судебному процессу, Александр Васильевич успел восстановить против себя многих влиятельных людей, в чьих руках оказалась потом его судьба. “Причиной этого была его натура – грубая и нахальная”, – писал в мемуарах начальник Главного управления по делам печати Евгений Михайлович Феоктистов, который в молодости

был домашним учителем у племянников Александра Васильевича и мальчиком на посылках при его сестрах (его показания окажутся самыми ценными для секретного следствия по делу об убийстве Деманш). Вспоминая Сухово-Кобылина, Феоктистов утверждал, что не встречал человека более властного и жестокого: “Этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права. Дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественной красотой, самоуверенные до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельное впечатление на женщин. Александр Кобылин мог похвастаться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили”.

С будущим шефом российской цензуры, а тогда студентом Московского университета, которого Александр Васильевич и не замечал в своем доме, как не замечал камердинера или мебель, его еще не раз столкнет судьба. С сердечной полицейской нежностью Евгений Михайлович будет кастрировать пьесы этого “жестокое дикаря”, запрещать их одну за другой к постановке на сценах Императорских театров, не останавливаясь ни перед какими злоупотреблениями цензорской властью. Видимо, такова уж была судьба Сухово-Кобылина – испить до дна чашу презрения влиятельных рогоносцев, к племени которых принадлежал и шеф российской цензуры. Так же как и военный генерал-губернатор Москвы, он благодаря наклонностям супруги беспрестанно попадал в “ложное положение”. Правда, Софья Александровна Феоктистова, в отличие от Аграфены Закревской, предавалась греховным страстям небескорыстно. Министр государственных имуществ Михаил Николаевич Островский, под началом которого служил Феоктистов, оплатил услуги Софьи Александровны щедро – назначением мужа на пост главы цензурного ведомства. Впоследствии министру не пришлось сожалеть о своем выборе: его личный интерес нечаянно совпал с государственным – российская цензура обрела достойного начальника. Что же касается едкой эпиграммы поэта Дмитрия Минаева, которая облетела все московские салоны, то она только лишний раз подчеркивала высокие служебные качества обоих героев:

*Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал.*

Феоктистов взялся за дело круто и был, как пишут современники, неутомим “по части мероприятий к обузданию печати”. В первые же годы пребывания на посту он добился закрытия многих газет и журналов. Впоследствии его стараниями были взяты на особый цензорский учет Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Чехов, Гаршин, Короленко. “Никогда еще наша цензура не стояла в такой степени на высоте своего призвания, – писал Владимир Михневич в фельетонном словаре «Наши знакомые», выпущенном в Петербурге в 1884 году, – никогда она не была так проницательна, так бдительна и строга, как под руководством г. Феоктистова”.

В заграничное путешествие, во время которого Александр Васильевич познакомился с Луизой Деманш, он выехал в 1838 году, сразу после окончания философского факультета Московского университета, где он проучился четыре года в качестве своекоштного (находящегося на собственном содержании) студента. Университетские отчеты свидетельствуют, что в годы учебы он проявил себя блестяще: “За представленное сочинение на заданную тему «О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам» награжден студент 3-го курса Сухово-

Кобылин золотой медалью. Сей студент на репетициях и годичных экзаменах показал отличные успехи». В числе лучших студентов его отмечали в отчетах каждый год.

В университете Сухова-Кобылин сошелся с Константином Аксаковым, хотя они были во многом чужды друг другу. В одной из записок Аксакову он писал: «Так как мы всегда находились с тобой на противоположных полюсах, то я и теперь удерживаю свое положение относительно тебя. Ты много пишешь – я мало, ты много думаешь – я очень мало, ты весьма много чувствуешь – я ничего».

Аксакову претили в Сухова-Кобылине его аристократический лоск в манерах, его независимость и гордость за свой древний род, его французский язык, на котором он изъяснялся в аудиториях, в то время как «русский язык был единственным языком студентским», его щегольской мундир, в котором он появлялся повсюду (не носить мундир студента в пику университетскому начальству считалось в кругу Аксакова признаком вольнодумия).

Кобылину же было глубоко чуждо все, чем восторгался Аксаков. «Веселое товарищество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности», Александр Васильевич презирал; «чувство равенства, которое давалось университетом и званием студента», он не испытывал; в «уходах скопом» с лекций Декампа не участвовал; восхищения «студенческого братства» отвагой штатного университетского шута Заборовского, выпускавшего воробьев на лекциях Победоносцева, не разделял и, наконец, обходил стороной аксаковский кружок, или «союз», где «вырабатывалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу» и т. д. Впоследствии в своих дневниках он иронично называл «китайцами» славянофилов, лидером которых стал Аксаков, и записных патриотов.

Несмотря на разительное несходство характеров, Константин Аксаков и Александр Кобылин не могли обходиться друг без друга – они дружили запоем. И нельзя сказать, кто в этой странной дружбе был «льдом», а кто «пламенем». В письмах к двоюродной сестре Марии Карташевской Константину приходилось оправдываться за свою неумную привязанность к Александру, доходившую до сердечной дрожи. «Зачем вы сказали, что я люблю Кобылина? – Я дружен с ним, а дружба не любовь. Вы знаете, как нетерпеливо дожидался я, бывало, среды, как билось у меня сердце, когда я взбегал к нему на лестницу; как мне было горько, когда мы были в ссоре; но со всем тем я говорю, что деревня для меня будет иметь ту же прелесть, хотя и разлучит нас на месяцы».

Но и юный Кобылин порой до того переполнялся чувствами, общаясь с другом, что принимался петь с ним на пару оперные арии. «Как бы вы думали, милая Машенька, – писал Аксаков кузине, – Кобылин не согласился со мною в том, что между женщинами не может быть дружбы; поспорив с ним об этом, мы опять вместе осудили нежность в дружбе и согласились, что иногда очень приятно назвать или быть названу дураком, скотиной, уродом, наконец вечер наш заключился пением; мы пели так, что нас слышно было в других комнатах: он пел из «Роберта-Дьявола», пел разные французские арии: «*Pauvre soldat, je reverrai la France...*» и многие другие».

Дружба их закончилась полным разрывом. Причиной этому послужил нашумевший любовный роман профессора Московского университета Николая Ивановича Надеждина и старшей сестры Сухова-Кобылина Елизаветы Васильевны. В 1830-х годах дом Кобылиных был популярным в Москве салоном, где собирались ученые и литераторы: историк Погодин, юрист Морошкин, критик Шевереv, этнограф Максимович, издатель «Вестника Европы» Каченовский, поэт и переводчик античной литературы Раич, публицисты Огарев и Герцен, врач и переводчик Шекспира Кетчер. Руководил кобылинским салоном Надеждин, который был домашним учителем в семье Сухова-Кобылиных. Елизавета Васильевна, впоследствии писательница, известная под псевдонимом Евгения Тур, была воспитанницей Николая Ивановича. И вот между ней и ее учителем обнаружилась тайная любовная переписка. Мария Ивановна, мать драматурга, перехватила письма у младшего сына Ванюши, исполнявшего роль почта-

льона влюбленных. Елизавета Васильевна уже обещала Надеждину свою руку и даже подарила своему избраннику в знак любви золотое кольцо, что также стало известно семье. Поднялся скандал. В дневниках, предназначенных для Надеждина, Елизавета Васильевна так описывает эти события:

Маменька говорила:

– Не выйдешь по своей воле замуж!

Пришел папенька, спросил, что такое, ему сказали – и началась история:

– Кого тебе надобно?! Этого... я ему голову оторву!

Я ответила:

– А в Сибирь.

– Позвольте мне идти в Сибирь! – сказал, вскочив бледен, как снег, а глаза, как угли, брат мой. – Чтоб только имя Сухово-Кобылиных...

Дальнейшие слова брата Елизавета Васильевна не решилась передавать Надеждину, объяснив, что не хочет его огорчать, так как Александр выражался слишком резко.

Вскоре между Надеждиным и Марией Ивановной состоялось объяснение. Кобылина потребовала от учителя прервать все отношения с дочерью, угрожая в случае отказа крупными неприятностями. Разговор, записанный со слов Надеждина его биографом Николаем Козминым, был крутой и откровенный:

– Подумайте, что вы дорого можете заплатить.

– Как?

– У этой дуры есть отец, брат, дядя, они могут всадить вам пулю в лоб!

– Пусть стреляют и застрелят. Жизнь никогда не имела для меня цены.

– Извините, у нас нет убийц. Вас заставят стреляться.

– У меня другие понятия о чести – понятия плебейские. Ни в брата, ни тем более в сына вашего я стрелять никогда не буду.

Негодование Марии Ивановны усугублялось чувством ревности. Надеждин был долгое время страстно влюблен в нее, женщину весьма привлекательную. Ее жестокость и деспотизм, о которых так увлеченно пишет в мемуарах Феокистов, никак не отражались на миловидной внешности; передовые профессора возмущались тем, что Мария Ивановна могла отложить французский роман, над которым минуту назад проливала слезы, и взять хлыст, чтобы наказать старого камердинера, что не мешало поклонникам восхищаться этой московской амазонкой, разъезжавшей по городу верхом в мужском костюме и курившей гаванские сигары. Надеждину она ответила взаимностью, требуя от него свиданий, объяснений в любви, уверений в преданности, клятв, слез и страданий (в чем домашний учитель и не отказывал). Разумеется, что все эти знаки любви, милые женскому сердцу, Мария Ивановна не желала делить с дочерью. Нет сомнения, что “пулю в лоб” она сулила Надеждину как неверному любовнику.

Тем временем по городу поползли слухи, будто “бедный профессор ищет богатой невесты”. По утверждению Аксакова, слухи эти поддерживал Александр Кобылин, который “своими едкими замечаниями подливал масла в огонь, разжигая вражду к Надеждину”.

У Александра Васильевича были некоторые основания горячиться: по свидетельству биографа, Надеждин одно время “испытывал род какого-то тайного отвращения” к Елизавете Васильевне, чего и не скрывал.

Тем не менее заявления Сухово-Кобылина, семнадцатилетнего юноши, напитанного, по словам Аксакова, “лютейшею аристократией”, были крайне резки и оскорбительны для Надеждина: “Семинарист и попovich Надеждин, хотя и достигший профессорского звания, – говорил он, – не пара молодой, знатной и богатой девушке”.

В студенческой среде, где Надеждина боготворили – главным образом за то, что он, как пишет Аксаков, “был очень деликатен со студентами, не требовал, чтобы они ходили на лекции, и вообще не любил никаких полицейских приемов”, – подобные заявления студента Кобылина вызывали бурю дружного негодования.

В довершение всего Сухово-Кобылин в одном из разговоров с Аксаковым сказал буквально следующее: “Если бы у меня дочь вздумала выйти замуж за неравного себе человека, я бы ее убил или заставил умереть взаперти”.

После этих слов Аксаков окончательно рассорился с Кобылиным. Но тот не унимался, он действительно потребовал, чтобы сестру держали взаперти под домашним надзором. А сам между тем, наблюдая Надеждина, едко замечал: “Он спокоен, посещает театры, печатает в «Молве» отчеты об игре Каратыгина, ему и дела мало, что всецело доверившаяся ему девушка переживает тяжкие мучения”.

Надеждин, конечно же, не был спокоен и мучился не меньше, чем узница на Страстном бульваре в доме 9. Страдания профессора усугублялись еще тем, что он должен был встречаться с Александром Кобылиным в университете.

“В понедельник я, может быть, явлюсь на лекции, – записывает Надеждин в дневнике. – Надо дать экзамен студентам по моим предметам. Что делать! Соберу все силы, я должен буду увидеть Александра и экзаменовать его, это пытка”.

История могла бы завершиться благополучно-романтически. Но не судьба. Друг Надеждина Николай Христофорович Кетчер вызвался помочь влюбленным и устроить их счастье. Однако переводчик Шекспира непременно хотел, чтобы все развивалось по драматургическим законам: чтобы обязательно был побег в глухую ночь со страстными клятвами, тайными знаками, эффектными одеяниями и венчанием сонным батюшкой в деревенской церквушке. Елизавету Васильевну решили похитить. Условились, что Надеждин и Кетчер в полночь придут на Страстной бульвар и будут ждать на лавочке напротив кобылинского дома заветного сигнала. Кетчер по такому случаю завернулся в черный плащ на красной подкладке, надел широкополую шляпу и явился к месту встречи в приподнятом настроении. Надеждин, впрочем, был в самом будничном расположении духа и без плаща. “Знак долго не подавали, – рассказывает Герцен в «Былом и думах». – Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его – отчаяние и утешения подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. «Она не придет, – говорил Надеждин спросонья, – пойдемте спать». Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не один, а десять раз, и ждала она час-другой; всё тихо, она сама – еще тише – возвратилась в свою комнату, вероятно, поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: «Он ее не любил!»”.

После этого случая, который стал известен всему свету, Александр Васильевич настоял, чтобы сестру увезли в Крым. В поездке ее сопровождал будущий шеф цензурного ведомства Евгений Михайлович Феоктистов. Через несколько лет Елизавету Васильевну выдали замуж за французского графа Салиаса де Турнемира, который, по определению Феоктистова, представлял собой самое жалкое ничтожество; это был “пустейший хлыщ, очень кичившийся своим титулом, хотя его захудалая фамилия не пользовалась почтением во Франции; он вступил в брак с Елизаветой Васильевной единственно потому, что имел в виду порядочное приданое”.

С Александром Васильевичем графиня оставалась всю жизнь в натянутых отношениях и отзывалась о нем недружелюбно. Да и он не жаловал сестру. Когда французский граф промотал в России приданое Елизаветы Васильевны в 80 тысяч рублей серебром (четверть миллиона на кредитные билеты) и сбежал за границу, подальше от гнева грозного шурина, оставив ему прогоревшие заводы шампанских вин и двух малолетних племянников в утешение, Александр

Васильевич, распоряжавшийся всем достоянием рода, отказался выдать сестре дополнительные средства к существованию на том основании, что девушка, получившая приданое, считается отделенной от семьи. Графиня Салиас де Турнемир вынуждена была зарабатывать на жизнь литературным трудом и на этом поприще сделала себе довольно громкое имя. Ее первая повесть “Ошибка” имела значительный успех, а литературный салон Евгении Тур в середине XIX века был широко известен и популярен. “В ее маленькой квартирке, – вспоминает Феокистов, – можно было постоянно встретить Грановского, Кудрявцева, И.С. Тургенева, В.П. Боткина, А.Д. Галахова”.

Окончив курс наук в Московском университете и удостоившись “за отличные успехи и поведение” степени кандидата² философского факультета, Александр Васильевич отправился за границу. Год он жил в Италии, где “на высотах Альбано зачитывался Гоголем до упаду”. Затем уехал в Германию и там два года изучал гегелевскую философию – слушал в Берлинском и Гейдельбергском университетах лекции гегельянцев Георга Габлера и Карла Вердера. В 1841 году он поселился в Париже, где его привлекали главным образом театры.

Страсть к театру была у Сухово-Кобылина в крови. Его дед, выксунский властелин Иван Дмитриевич Шепелев, прозванный за свою жестокость и деспотизм Нероном Ардатовского уезда, имел в собственности великолепный театр. По воспоминаниям современников, это был один из лучших провинциальных театров России. Иван Дмитриевич содержал многочисленный оркестр, сформированный из именитых столичных музыкантов, покупал отменные декорации и костюмы, оборудовал сцену первоклассной техникой. В Выксе ставились не только драмы и комедии, но и оперы, а также балеты. Балетмейстером Выксунского театра был одно время Иогель, известный тогда в России учитель танцев. Сам Иван Дмитриевич, обладавший хорошим баритоном, исполнял в некоторых операх главные партии.

Театр для него был превыше всего. Однажды во время спектакля к нему в ложу прибежал перепуганный до смерти управляющий и сообщил, что чугунная плавка прорвала доменную печь – горят заводы. Ни один мускул на лице магната не дрогнул. Он приказал управляющему не говорить никому о пожаре, чтобы не нарушить переполохом хода представления, и сам досмотрел спектакль до конца с большим воодушевлением, которое обошлось ему в полмиллиона рублей серебром. Любовь к театру не помешала, однако, уездному Нерону жестоко расправиться с капельмейстером своего оркестра – бедняга был посажен на кол за то, что позволил себе ухаживать за фавориткой театральной труппы, любовницей хозяина. Дед драматурга был настолько увлеченным театралом, что и жизнь его мало чем отличалась от театральных представлений. Воображая себя султаном, он носил турецкий костюм и чалму и принимал гостей, восседая на троне. В султанском же одеянии он совершал торжественные шествия по Ардатовскому уезду Нижегородской губернии, сопровождаемый толпой лакеев, наряженных в турецких воинов. Среди пшеничных полей Иван Дмитриевич раскидывал пестрые шатры и, окруженный одалисками, пировал дни и ночи напролет, разыгрывая роль восточного властелина.

Парижская модистка, с которой Александр Васильевич случайно познакомился в ресторане, оказалась женщиной деликатной, умной, не лишенной светских манер; к тому же она была чрезвычайно привлекательна внешне: белокурая, голубоглазая, хорошо сложенная, со вкусом одетая. Она понравилась русскому барину. Александр Васильевич водил Луизу с собой в театры, удивляя ее прекрасным знанием города и французского жаргона, когда приходилось с бою брать билеты в кассах дешевых бульварных театриков, где место в партере стоило всего 2 франка и где на афишах стояло неизменное добавление: “Шутка, пародия, шарж”. Он любил дешевые театрики. Привилегированному “Одеону”, куда ездили пэры Франции и королевская

² В дореволюционной России существовали ученые степени действительного студента, кандидата университета, магистра и доктора.

фамилия, он предпочитал балаганы на Вандомской площади, где каждый вечер под шарманку и фейерверки разыгрывался народный фарс. Он посещал театр “Жимназ” на бульваре Бон-Нувель, где ставились комедии Эжена Скриба, был постоянным зрителем в театрах “Гете”, “Водевиль”, “Варьете” на бульварах дю Тампль и Монмартр, где блистал комик-виртуоз Пьер Левассор и где “бесподобный”, по мнению Александра Васильевича, Мари Буффе, рассыпаясь в ужимках и восклицаниях, заставлял толпу в одну минуту и рыдать, и содрогаться от смеха.

Потом, сидя в тюрьме у Воскресенских ворот и макая перо в казенную чернильницу, Александр Васильевич будет вспоминать этого великого комика: “Я писал «Свадьбу Кречинского», – говорил он в интервью корреспонденту «Нового времени» Юрию Беляеву, – и все время вспоминал парижские театры, водевили, Буффе”.

И сам удивлялся: “Каким образом я мог писать эту комедию, стоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч, я не знаю, но знаю, что написал «Кречинского» в тюрьме, на гауптвахте у Воскресенских ворот”.

Здесь надо заметить, что с тех пор, как в желудке статского советника Лебедева сгинул злополучный билет Опекунского совета, сумма требуемой взятки неуклонно возрастала: частный пристав Редькин запросил уже 20 тысяч, а следователь Троицкий – 30. Когда же за дело взялись “особые”, “тайные” и “чрезвычайные” следственные комиссии, с Александра Васильевича потребовали 50 тысяч. Но он не дал. Тогда он еще не постиг горькую мудрость, которую озвучил потом устами Кречинского, писавшего помещику Муромскому:

С Вас хотят взять взятку – дайте; последствия Вашего отказа могут быть жестоки... Откупитесь! Ради бога, откупитесь. С Вас хотят взять деньги – дайте! С Вас их будут драть – давайте!
“Дело”, действие первое, явление I

“А в тюрьме было прелевесело, – говорил Александр Васильевич журналистам, будучи уже восьмидесятилетним стариком, – доказательством вам то, что там я написал лучшие сцены «Кречинского»”.

Эти дни, проведенные с Луизой в парижских театрах, были счастливейшими днями его жизни, судя по тому, что он вспоминал их в тяжкие месяцы ареста, в ожидании страшного приговора, в тюрьме “об стену с ворами”, где было не так уж весело, как это казалось спустя сорок с лишним лет. Его дневники и письма начала 1850-х годов наполнены скорбью и отчаянием.

Подошло время уезжать из Парижа. В России ждали неотложные дела, нужно было устраивать имения, вникать в управление выксунскими заводами. Александру Васильевичу грустно было расставаться с Луизой. В последний вечер перед отъездом он говорил ей: “Приезжайте в Россию. Я помогу вам найти отличное место. Я дам вам рекомендацию к лучшей портнихе в Москве. Приезжайте... я буду вас ждать”.

Он тут же написал рекомендательное письмо госпоже Мене, приложил к нему 1000 франков “на дорожные издержки”, попрощался, сел в экипаж и уехал, сожалея, впрочем, что не уговорил Луизу ехать в Москву сейчас же, вместе с ним.

Глава вторая

После жизни в Париже я продолжал светскую жизнь до жестокого дня 7 ноября 1850 года. Это была жестокая точка поворота меня в меня самого.

А. В. Сухово-Кобылин. Черновик автобиографии

Вернувшись в Россию, Александр Васильевич нашел в полном здравии своих прежних друзей, известных всей Москве донжуанов, игроков и авантюристов, среди которых были князь Лев Гагарин и двоюродный брат Герцена Николай Голохвастов. Играя ночи напролет, они уже успели разорить свои имения, сделать многотысячные долги, заложить ростовщикам фамильные бриллианты и снова разбогатеть на счастливой карте. Они с легкостью проматывали в три дня состояния, женились на богатых купчихах, чтобы на следующий день прокутить в столице все их приданое, делали предложения французским актрисам и, пользуясь их незнанием православных обрядов, заказывали вместо венчания панихиду, после чего счастливые французенки считали себя законными женами русских князей.

Как и в прежние университетские годы, Александр Васильевич, окруженный этими повесями, с удовольствием расточал время на светских раутах, за карточным столом, на ипподромах и в доме Голохвастова, где устраивались шумные обеды, балы, спектакли и ночные кутежи, на которых, как пишет Герцен, “вино лилось и музыка гремела”.

В светской жизни Сухово-Кобылин блистал и добивался успеха, как и во всем, за что бы он ни брался. В 1842 году он стал лучшим жокеем России, выиграв на первой “джентльменской” скачке в Москве главный приз: обогнал на гнедом чистокровном жеребце Щеголе дотолпе непобедимого петербургского жокея Демидова, который был настолько уверен в успехе, что перед скачкой зашел в судейскую беседку узнать, кто поднесет ему приз. Кобылин оставил его позади на полкруга. “Выигрыш первого ездока-охотника из дворян, – говорили потом очевидцы, – был приветствован обществом и публикой восторженно”. В честь этого события на всех ипподромах России был учрежден приз имени Сухова-Кобылина, а какой-то французский художник-любитель изобразил победителя на акварельном портрете: в щегольской жилетке, узких панталонах и жокейской кепке он скачет на красивом гнедом жеребце по финишной прямой; взгляд у “ездoka-охотника” злой и сосредоточенный. Портретик этот много лет кочевал по страницам всевозможных охотничьих журналов и газет Москвы, Петербурга и Парижа.

Впоследствии Сухово-Кобылин завел в своем имении конезаводы, которые смог поставить так, что они считались лучшими в России. Его лошади выигрывали призы на крупнейших ристалищах Европы.

В письме Муромскому (“Дело”) Кречинский говорит: “Может, и случалось мне обыгрывать проматывающегося купчика или блудно расточающего родовое имение дворянина, но детей я не трогал, сонных не резал...” (По одной из версий следствия, Деманш была зарезана сонной в постели.)

Случалось и Александру Васильевичу обыгрывать дворян и купчиков. Игроком он был отчаянным: играл не по мелочи – на деревни и вотчины. По свидетельству его крестьян, в карты он выиграл родовое имение графа Антонова деревню Захлебовку, которая находилась по соседству с тульской Кобылинкой. “Таким же образом барин приобрел еще часть земли у других помещиков”, – вспоминали крестьяне.

Да, но вот “сонных не резал”. Общественное же мнение единодушно утверждало – резал! И ссылалось при этом на “грехи его молодости”, на купчиков и дворян, которым он действительно “резал горло” за ломберным столиком какой-нибудь счастливой картой.

От карт, ипподромов, фехтования и пикников Александра Васильевича отвлекали коммерческие занятия. Намереваясь поправить состояние семьи, частью потраченное им самим и его сестрами в заграничных поездках, частью пошатнувшееся стараниями эксцентричного деда, развеявшего сотни тысяч в театральных разгулах по Ардатовскому уезду, Александр Васильевич предпринимает поездку в Томск с целью приобрести там золотые прииски и начать новое дело. “Может быть, именно это путешествие, – пишет он сестрам из Томска, – явится залогом нашего благоденствия”.

Залогом благоденствия оно не явилось. В первой половине своей жизни до рокового перелома в ночь на Михайлов день 1850 года Сухово-Кобылин неохотно и неумело занимался хозяйственной и коммерческой деятельностью. Позднее, после трагических событий, резко переменявших его судьбу, он будет опьяняться работой, находить в ней радость, забвение и утешение. В 1850-х годах он с жадной и горячностью станет набрасываться на всякое дело, возводить заводы, мельницы, лесопильни, винокурни, с упоением и воодушевлением говорить о них.

А тогда упоения не было. “Я объездил золотые прииски, – пишет он уже в следующем письме из Томска. – Здесь все живет только для денег. Нажива единственный двигатель, и все души здесь черны, сухи и отталкивающие. Общества и собрания представляют нечто столь колоссальное по глупости, что можно было бы умереть от смеха, если бы не умирали от скуки. Словом, к черту их – не хочу больше о них говорить”. Этим все его предпринимательство и ограничилось. Приисков он так и не купил.

Весь год по возвращении из Парижа Александр Васильевич не забывал своей “милой Луизы”. Напротив, все больше тосковал о ней. Он то и дело заезжал в магазин к госпоже Мене справляться, не поступала ли на службу француженка по имени Луиза Деманш. Просил, если она появится, тотчас же сообщить ему.

Приехав в Россию 6 октября 1842 года, Луиза не спешила воспользоваться рекомендацией Сухова-Кобылина. Она осталась в Петербурге и устроилась модисткой в магазин портнихи Андриенки на Невском проспекте. Луиза надеялась разбогатеть, торгуя модными шляпками в Северной столице, и явиться к “русскому боярину” со своим капиталом. Но торговля в Петербурге не принесла ей ничего, кроме долгов. В декабре она оставила магазин Андриенки и решила ехать в Москву.

Не объявляясь Александру Васильевичу, Луиза остановилась у своей соотечественницы Эрнестины Ландерт, с которой познакомилась в магазине Мене. Квартуру для Эрнестины в Газетном переулке снимал брат поэтессы графини Ростопчиной гвардии поручик Сергей Петрович Сушков, впоследствии неоднократно привлекавшийся свидетелем по делу об убийстве Деманш.

Эрнестина с Сушковым и сообщили Александру Васильевичу о приезде Луизы. Счастливый и возбужденный, он помчался в Газетный переулочек. “Зима. Первое сладостное свидание с Луизой, – записал он в дневнике. – Я приехал за нею в санях. Она вышла. Я ее посадил в сани и... какая досадная эта зима – эта шуба...”

О том, чтобы Луиза работала модисткой, уже не было и речи. “К черту госпожу Мене! К черту шляпки! – восклицал Александр Васильевич. – Я сделаю вас настоящей русской купчихой! Не смейтесь!.. Вы будете сидеть на пуховых подушках, пить чай из самовара и бранить кредиторов, я научу вас, как с ними раздельваться в два счета: эй, там, кто-нибудь, гоните их в шею!.. Я люблю вас, Луиза, я не знаю, как прожил весь этот год без вас...”

На следующий же день Александр Васильевич снял Луизе квартиру в доме Засецкого на Рождественке. Но этого ему показалось мало, и он в скором времени арендовал для француженки весь первый этаж дома графа Гудовича – со спальнями, кабинетом, просторной гостиной, кухней, погребом и конюшней. Дом Гудовича находился в самом центре Москвы на углу

Тверской и Брюсова переулках, в двух шагах от дома военного генерал-губернатора. Кобылин дал Луизе в прислуги дворовых девок Аграфену Кашкину, Пелагею Алексееву, Василису Егорову и Настасью Никифорову. Он отрядил к ней лучшего своего повара Ефима Егорова, прошедшего школу в Петербурге на кухне Дашкова, трех кучеров и мальчика-рассыльного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.